

Жёстко и угрюмо

Автор:

[Андрей Рубанов](#)

Жёстко и угрюмо

Андрей Викторович Рубанов

Проза Андрея Рубанова

Андрей Рубанов – автор романов «Патриот», «Готовься к войне», «Финист – ясный сокол». Лауреат премий «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна», финалист премии «Большая книга».

В новом сборнике короткой прозы «Жёстко и угрюмо» на сцену снова выходит «я-герой» Рубанова, наследующий художественно-документальной «я-литературе» Лимонова и Довлатова, – тот же, что в романах «Сажайте, и вырастет», «Великая мечта», «Йод» и сборниках «Стыдные подвиги» и «Тоже Родина»: советский мальчик, солдат, бизнесмен, отсидевший уголовник, киносценарист, муж и отец.

Андрей Рубанов

Жёстко и угрюмо

© Андрей Рубанов

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Жёстко и угрюмо

Семён Макаров был опытный кинематографист.

Прежде чем попасть в волшебный мир кино, Семён много лет занимался музыкой и фотографией, а кроме того – писал газетные статьи, продавал сигареты вагонами, сочинял недурную прозу в стиле Андрея Белого, производил водку в Северной Осетии, ставил любительские спектакли в Таганроге, обналичивал и отмывал деньги в Москве, а также владел единственным и, по слухам, сверхпопулярным киоском «Куры-гриль» в Элисте, республика Калмыкия.

Я не был столь многогранен.

В детстве я хотел быть Фёдором Достоевским, в юности – Джорджем Соросом, за что и пострадал.

Но с друзьями мне везло, а с Семёном повезло особенно. Мы познакомились в общежитии студентов МГУ на просмотре фильма Алана Паркера «Стена», а спустя неделю уже создали совместный бизнес по выколачиванию карточных долгов. Потом были и другие затеи, столь же респектабельные.

Мы много сотрудничали и хорошо зарабатывали. Нас смогла разлучить только Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Я попал в «Матросскую тишину», но Семён не расстроился – и, пользуясь случаем, поступил в Институт Кино.

Когда, спустя три года, меня выпустили из следственного изолятора – Семён уже был опытным кинематографистом.

Ни один из его многочисленных сценариев не добрался до большого экрана. Институтские педагоги раздражали Семёна – с его точки зрения, они ничего не знали о жизни. Истории, которые сам Семён считал изящными, воздушными комедиями, полными любви и радости, – педагоги принимали за кровавые

депрессивные триллеры. Когда лучший и самый лёгкий сюжет – о том, как сам Семён пять дней просидел в плену у черкесов, привязанный прорезиненными прыгалками к батарее центрального отопления, справляя нужду в бутылку из-под шампанского, – был забракован педагогом по мастерству, Семён забросил учёбу, решив, что его идеи опережают время.

Следующие несколько лет дались нам обоим тяжело, но мы держались друг за друга. Я добывал хлеб прорабом на стройке; Семён учредил таксопарк в Новороссийске. Дважды женился и развёлся.

Всё шло нормально. Наши дети не голодали.

В какой-то момент, окончательно возненавидев сварочные и кровельные работы, я вспомнил детство и стал ночами писать роман о русской тюрьме. Однажды выяснилось, что роман готов, – и мне удалось опубликовать его.

Книга имела успех. Тираж был распродан, критики выдали честный и мощный аплодисмент. Три или четыре журнала напечатали мой портрет. Испитой и угрюмый, я выглядел отвратительно; однако Семён был счастлив. Он звонил дважды в день, помогал советами и сопереживал. Он имел редчайший среди людей искусства дар: радоваться удаче товарища.

Несколько недель я был почти знаменит, моя книга почти попала в топы и почти получила престижную премию.

И вот, в самом апогее эйфории, прозвучал телефонный звонок.

Сверхмодный кинорежиссёр Ржанский желал купить права на экранизацию моего романа.

Я позвонил Семёну, он примчался, оставив свой таксопарк, и обнял меня: загорелый, угловатый, пропахший жареной рыбой. Мы немедленно напились. Жена пыталась пресечь, но Семён сказал: «твоего мужа экранизируют» – и нам позволили продолжать.

Ржанский, сам Ржанский захотел меня, – не какой-нибудь ремесленник, не лабух дешёвый, не посредственный производитель косноязычных сериалов,

а легендарный и скандальный Илья Ржанский, сумасшедший питерский гений, создатель фильма «Пять», в котором голые старухи обливают друг друга красным вином и поют красивые срамные песни, а потом всё кончается плохо – но впечатление остаётся хорошее.

Моя звезда явно восходила. Иметь дело со Ржанским было престижно.

Стали обдумывать план.

Надо было знать нас, хитроумных растиньяков; мы были слишком умные и слишком битые, мы понимали: каждый шанс может быть последним, каждая фраза единственного разговора может стать ключевой. Просто сунуть руку, познакомиться и взять деньги – мало; надо вызвать интерес, надо изумить, ошарашить, заинтриговать.

Деньги предлагались маленькие, смехотворные.

– Имей в виду, – говорил Семён, втыкая указательный палец в мою грудь. – Он обязательно спросит, есть ли у тебя что-нибудь ещё. И ты скажешь, что есть.

– Но у меня ничего нет.

– Ни у кого никогда ничего нет, – ответил Семён. – Но надо сказать, что есть. Тем более, что у тебя – есть. Ты же будешь продолжать?

– Не уверен. Я, пожалуй, сосредоточусь на капитальном строительстве. На литературные гонорары жить нельзя.

– Учись! – вскричал возбуждённый Семён. – Учись, и научишься! Скажешь ему, что всего – навалом. Море сюжетов. Куча идей. Абсолютный фреш! Персонажи! Язык! Фабулы! Всё что хочешь!

– А я что, должен сразу с ним – на «ты»?..

– Сообразишь на месте.

Я испугался.

- Сообразишь? А ты со мной не пойдёшь разве?

- Нежелательно. Лучше выступить соло. Когда люди приходят вдвоём - впечатление размывается.

- Я без тебя не пойду, - сказал я. - Мне страшно.

- Сколько раз ты был на допросе?

- Пятьдесят.

- Прокуратуры не боишься, а кино боишься.

- Да. Боюсь. А вдруг всё срастётся? А вдруг он снимет хорошее кино? У меня крыша поедет.

- В кино у всех крыша едет, - сказал Семён. - Ты его фильм смотрел?

- Пытался.

- И что ты понял?

- Он хочет быть крутым. Острым, ярким. Преступным.

- Вот! Вот! Вы нашли друг друга! Вы договоритесь. Вы сделаете бешеную картину. Главное, чтоб она была зрительская. Внятная. Тарковский был хорош, но его идеи убили русский прокатный кинематограф! Никакой тарковщины! Никакого искусства из головы! Только отсюда! - Семён ударил себя в ключицу. - Из сердца, из нервов!

- Мне показалось, этот Ржанский... как раз из головы работает...

- Работал, - поправил Семён. - Пока тебя не нашёл. Теперь вы сделаете настоящее кино. Из позвоночного столба. Из собственной природы. Убеди его в этом. Зарази.

– Тогда, – сказал я, – ты пойдёшь со мной.

– Как скажешь, – ответил друг. – Я тебя люблю. Я не оставляю тебя ни в горе, ни в радости.

Ах, как была тогда нам нужна эта победа.

Ах, как вовремя нас посетила эта благодать.

Пьяные, счастливые, дурные, плохо постриженные, мы стояли на балконе, мы смотрели в жёлтые окна, мы вдыхали кислый воздух большого города. Мы хохотали.

Мы знали всё про всё. Нам сравнялось по тридцать пять. Мы были богатыми и бедными, преданными и проданными, битыми и клятыми, женатыми и разведёнными, спившимися и завязавшими, арестованными и освобождёнными, вонючими и благоуханными. Олигархи доверяли нам миллиарды, а собственные жёны боялись доверить собственных детей. Мы понятия не имели о том, кто мы такие. Мир пытался, но не мог нас идентифицировать. Мерзавцы – или герои? Авантюристы – или подвижники? И вот одному из нас удалось положить на бумагу наши рефлексии, нашу ярость и любовь.

Я не совершил подвига, я не родил новую формулу, я не пересёк океан и не открыл Америку.

Но я нашёл слова.

Спустя несколько дней Ржанский позвонил.

– Я сейчас в Каннах, – сообщил он сквозь атмосферные шорохи трёх тысяч километров. – Вернись, и поговорим у меня в офисе, ага?

– Ага, – ответил я.

Естественно, он находился в Каннах, а где ещё, глупо удивляться. Естественно, у него был свой офис; естественно, на территории концерна «Мосфильм».

– Да хоть в Кремле, – сказал Семён, когда я сообщил о звонке из мира грёз. – Не менжуйся. Через десять лет у тебя тоже будет офис на «Мосфильме». А может, и в Голливуде.

Я в те дни много пил, жена не доверяла мне машину; мы двинули на randevу пешком.

– Только на своих двоих, – авторитетно научил Семён. – Ты писатель, следовательно – голодранец. Заодно и прогреем мозги, по пути к славе.

От метро «Киевская» – полчаса быстрым шагом, вдоль сурового гранитного парапета набережной Москвы-реки. Но прославленные литераторы, чьи опусы экранизируют ещё более прославленные кинодеятели, не ходят быстрым шагом. Успех неоспорим, очевиден. То есть – мы уже успели, не опоздали; спешить было некуда. Без нас не начнут и не закончат.

Оснащённые великолепно скользкой бутылью молдавского коньяка, мы двигались естественным темпом естественно хмельных мужчин, безусловно доказавших планете свою стопудовую естественность. Узкая посудина 0.75 удобно помещалась в кармане пиджака. Пока шли – прикончили и выбросили в реку: чёрные волны унесли стеклянную дуру в прошлое, а мы шагали в будущее.

Территория концерна «Мосфильм» была необъятна и практически безлюдна, газоны заросли лебедой по колёно; с трудом мы отыскивали нужное здание и нужный этаж, и, пока шли вдоль ряда облезлых дверей, Семён усмехался бесшумно.

У меня тоже был свой офис; и у Семёна был; мы тоже «делали дела», пусть не в сфере кино, пусть без визитов в Канны – но это ничего не меняло.

Режиссёр Ржанский оказался молодым, статуарным, ухмыльчивым блондином. Эстетский шарф обнимал его бледную питерскую шею.

Курил одну сигарету за другой. На пачке светилась надпись «курение убивает» на чистом французском языке. Бросив пачку на исцарапанный стол, гений следом бросил и конверт с деньгами. Жест мне понравился: не все знают, что передавать деньги из пальцев в пальцы – дурная примета.

Положи на стол, убери руку.

А нет стола – так и не пытайся строить из себя делового.

Помимо гения, в комнате находились ещё несколько мужчин и женщин; все элегантные, умно прищуренные. Одна из женщин шустро поместила рядом с конвертом официальную, в двух экземплярах, бумагу.

Я подписал, не читая. Сложил вчетверо, сунул в задний карман.

Семён цинично мне подмигнул. За пятнадцать лет практики в русском бизнесе мы с ним составили, может быть, тысячу всевозможных договоров и контрактов. Мы ненавидели юридические бумажки лютой ненавистью. Мы полагали основным элементом любого контракта рукопожатие.

Возможно, я подписал соглашение о продаже души дьяволу. Возможно, дьявол тоже был кинорежиссёр.

Мы сели. Стулья под нашими костлявыми задами заскрипели. Питерский гений посмотрел с беспокойством.

– Эта книга... – произнёс он, изящно протерев очки краем шарфа. – Вы что, писали её вдвоём?

– Он писал, – ответил Семён, кивнув на меня.

– А он – помогал морально, – добавил я, кивнув на Семёна. – Вам понравилась книга?

– Трудно сказать, – веско процедил гений. – Не мой материал.

– То есть, вы не будете это снимать?

– Конечно, нет. Но права куплю. Может, перепродать получится.

– Хотите заработать?

– Да, – лаконично ответил Ржанский.

– Великолепно, – вступил Семён, пока я засовывал конверт в тот же карман, где полчаса назад покоилась бутылка. – Я вас понимаю. Кино должно себя окупать. Нужен разворот в сторону зрителя. Тарковщина губит наш кинематограф.

– Тарковщина? – переспросил Ржанский.

Все присутствующие в комнате бросили свои дела и обратили взгляды на двоих визитёров – пьяных, оскалившихся дилетантскими улыбками.

– Именно, – сказал Семён ледяным тоном. – Безответственная погоня за эстетикой. Картинка ради картинки! Философия ради философии! Зритель желает внятных историй. Первый акт... Второй... Далее, сами понимаете, третий... Ясные мотивировки... Внятность и конкретность...

– Вы работаете в кино? – осведомился Ржанский.

– И в кино тоже.

– Мой друг окончил ВГИК, – пояснил я.

– Ага, – печально произнёс Ржанский. – Я знал, что там теперь двигают зрительское кино. К этому всё шло.

Все присутствующие ослабели. Гений щёлкнул зажигалкой.

– Ещё как двигают, – ответил Семён. – Пора учиться делать чистый энттертейнмент. Зритель всегда прав. Он голосует кошельком.

– Погоди, – сказал я. – Тарковщина – это да. Это, так сказать, очевидно. Но кто же будет снимать фильм?

– Понятия не имею, – ответил Ржанский. – Кто купит права, тот и снимет. Для меня это слишком жёстко и угрюмо. Без обид, ага?

– Ага, – сказал я. – Но где там жесть? Где угрюмство? Может, в пятой главе есть немного...

– Я не дочитал книгу, – перебил Ржанский. – Не успел. В самолёте начал... Написано – вполне... Но в целом – повторяю, не мой материал... Тем более, у меня готов большой проект... Надеюсь запуститься в этом году...

– Кстати, – я спохватился. – У меня есть и другие идеи. Много интересного...

– Присылайте, – вяло разрешил гений.

Я понял, что пора сваливать.

– Познакомиться с вами – большая честь.

– Ага.

Семён засопел.

– Кстати, а угоститься сигареткой...

Ржанский протянул пачку.

Попрощались любезно, но мгновенно.

В коридоре я извлёк конверт и пересчитал.

– Не на...бали? – спросил Семён.

– Нет.

– По-моему, мы им не понравились.

– Значит, кина не будет.

– Будет, – сказал Семён сурово. – Я видел их глаза. У нас есть то, чего у них нет.

– И что же, – спросил я, – у нас есть?

– Синяки и шишки.

Покинув территорию всемирно известного концерна, мы срочно приобрели ещё одну бутылку с тем же примерно содержанием. Глотнув и подышав носом, я понял, что пребываю под большим впечатлением. Питерский гений однозначно излучал блеск. После пятого глотка это стало очевидным, и возбуждение выродилось в резкий приступ голода.

– Возьмём такси, – предложил я. – Доедем до дома, как белые люди. Отварим пельменей. Сегодня мы это заработали. Сегодня хороший день, я хочу быть сытым.

Семён яростно засмеялся.

– Дурак! С таким подходом у тебя не будет будущего в кинематографе. Вон, видишь, палатка? Куры-гриль?

– Вижу, – ответил я. – Чёрт возьми, брат. А я всё думал, кто из вас двоих – гений. Теперь вижу: ты.

– Не надо оваций, – скромно ответил товарищ. – И не бери целую курицу. Половинки хватит.

Мы отошли в кусты, мощно глотнули и радикально закусили. Ангел успеха бесшумно сделал круг над нашими лохматыми головами и улетел в сторону центральной проходной «Мосфильма»; безусловно, он где-то там и обитал.

Установился вечер.

Французскую сигарету – подарок Ржанского – Семён курить не стал, заложил за ухо бережно.

– Когда будут снимать фильм, – сказал он, – потребуй для меня роль. Третьего уголовника в пятом ряду. Во ВГИКе мне все говорили, что я фактурный.

Шли положим спуском с Ленинских гор по Мосфильмовской улице. Москва открылась навстречу, как толстый подробный роман. Светились строчки окон; за каждой буквой – чьи-то нервы. Поворот реки, купола Новодевичьего, увесистые дома, плавные арки мостов, разнонаправленное скольжение автомобильных огней, химические цвета реклам, сырой весенний ветер – читай дальше, человек, у этой книги нет счастливого конца; вообще никакого нет.

Самые лучшие сюжеты не имеют финала.

– Зря мы пришли к нему пьяные, – сказал я.

– Чепуха, – ответил Семён. – Пьяного понять легче. Этот малый, режиссёр, был трезвый, и я его совсем не понял. Чего хотел? Зачем тебя позвал? На кой чёрт ему твоя книга?

– Он же сказал – заработать хочет.

– Нет. Он не за деньги рубится. Он мечтает прогреметь. По нему видно.

– Ещё прогремит, – сказал я.

– Неважно, – сказал Семён. – Слава, деньги, успех – всё неважно. Будет кино, не будет – тоже неважно. Для меня фильм уже снят. Я вижу, как зрители покупают билеты. Я вижу афишу. Там нет твоего имени... Там чьи-то другие имена, крупными буквами... Лица каких-то актёров... В главной роли какой-нибудь плечистый педераст... Я вижу титры... Первый акт, второй акт... Третий... Всё на три аккорда, как в блатной песенке... Там мало общего с твоей книгой... Никакой жести, всё гладенько, ровненько... Но это тоже неважно... Важно, что мы до них докричались... И сейчас я счастлив... Так счастлив, что даже не опьянел... Счастье – это ведь совсем трезвое состояние...

Семён достал из-за уха французскую сигарету, отломил фильтр и закурил.

Фильм так и не был снят.

С тех пор прошло десять лет. Я написал ещё десять книг. Ни одна из них не заинтересовала кинематографистов; они говорили, что мои истории – слишком жёсткие и угрюмые.

Четыре слезы в чёрном марте

На втором месяце жена сильно заболела. Многочисленные опытные подруги в один голос подтвердили: всё правильно, у беременных слабый иммунитет. Без паники! Надо спать, есть и пребывать в комфорте.

Она впервые забеременела. Умная, твёрдая, иногда излишне твёрдая девушка, железная леди – метр шестьдесят, она не собиралась паниковать; но для страховки переселилась к маме.

Жили отдельно, в «гостевом браке», я снимал студию, она имела личную персональную собственную однокомнатную квартиру; съезжаться не спешили. Вообще никуда не спешили.

У матери ей было просторно и спокойно.

Когда я приезжал – выходила полупрозрачная, бесшумная. Аптечную фармакологию презирала, лечилась травами, лимонным соком и кипятком. Я сидел полчаса или час, уезжал к себе и тоже падал от слабости, поскольку тот же самый коварный вирус поразил и меня.

Однако я не носил в себе зародыш нового человека, моё тело осталось плоским, костлявым, сорокалетним, ко всему привыкшим, невосприимчивым к заразе. Много всяких диких штук я вытворял с организмом: и спортом изнурял, и алкоголем пропитывал, и не кормил, и не уважал, – но ничего не произошло ни с мясом, ни с костями, износ был в пределах нормы; раны заживали, как на

собаке, болезни переносились на ногах.

Совершенно некогда было болеть. Уважаемый московский журнал предложил командировку и оплатил авиабилеты. Я бегал по метельному мартовскому городу, подготавливая экспедицию на отдалённый остров в отдалённом море. Скупал в обменных пунктах мелкие долларовые купюры, гладил белые штаны, раздавал распоряжения и даже выписал доверенность на автомобиль, чтобы, значит, в случае моего падения в синие воды с высоты десять тысяч метров родственники смогли хоть как-то материально утешиться.

Жена – сквозь болезненный туман, тихим голосом – посмеивалась. Хотя, если бы не беременность и не болезнь, – сорвалась бы со мной, бросив все дела. Моложе меня на двенадцать лет, она принадлежала к резкому и циничному поколению «детей перестройки», школу закончила кое-как, зато государственный институт кинематографии – с отличием, и объездила половину мира ещё до того, как ей исполнилось двадцать пять. За то время, пока я её знал – семнадцать месяцев, – она прокатилась в Израиль, Италию, в Осло, в Стокгольм и в село Великовечное Краснодарского края.

Я это в ней уважал. Сам я в мои двадцать пять путешествовал только по ближнему Подмосковью, только в машине с тонированными стеклами и только имея при себе бейсбольную биту.

А она никогда ничего не боялась, свободно говорила по-английски, приезжала в Гамбург или в Дахаб и тут же обзаводилась местными приятелями, и новый мир изучала через людей этого мира. Мои поездки были вылазками, хаджами, её поездки – идеальным развлечением, отжигом, она не путешествовала – она трипповала.

Теперь я собирал и разбираю сумку, суетился, напрягался: брать или не брать нож, брать или не брать батарейки, – а она советовала: «Ничего не бери, так интереснее».

В день отъезда я был почти невменяем. Голова кружилась, бросало в пот. Но болеть было нельзя. Вечером приехал домой, помыкался меж надоевших стен – и решил, что отправной точкой следует назначить не мою квартиру, а квартиру жены. У себя дома можно расслабиться и проспять. Кто разбудит вояжера в четыре утра?

Решил поехать в дом жены и вообще не ложиться.

В 22:00 вошёл в её квартиру, ещё раз проверил сумку и завис.

Делать было нечего. Читать не хотелось. Телевизор отсутствовал.

Вдруг подумал, что впервые провожу здесь одинокую ночь. И что мы всего только год вместе – а кажется, что полжизни.

Март получился в этом году злой и безжалостный: то льдом закуёт, то бесовскими ветрами просвищет, московская климатическая свистопляска, невозможно соскучиться; на третий день весны я купил себе меховые перчатки. Мне нравится всё злое и безжалостное.

Но квартира жены встретила теплом и тишиной.

В прошлом марте я приходил сюда ещё в сомнительном статусе секс-товарища, бойфренда с ограниченной ответственностью. Убегал около часа ночи. Утром надо было будить сына, отправлять в школу; шестнадцатилетний малый легко просыпался самостоятельно, без понуканий, но отец очень желал оттянуть момент окончательного разрыва. Старая семья давно рухнула, мать сына три года жила в Италии, мне было рекомендовано убраться на все четыре стороны; однако Италия далеко, а сын – вот, рядом; хотелось ещё месяц, ещё два месяца побыть настоящим отцом, который подливает чай в чашку, и желает удачи, и закрывает дверь, и наблюдает в окно, как бредёт в нелюбимую школу, отягощённый портфелем, его великовозрастный первенец.

Но наступал вечер, а вечером шестнадцатилетнему мальчишке отец не нужен – и тогда отец ехал туда, где он нужен.

В её доме сложно и приятно пахло мёдом, орехами, масляными красками. Каждый сантиметр пространства был прихотливо организован. Четыре десятка отборных книг. Два десятка виниловых пластинок. Абсолютно ничего лишнего. Диски с фильмами непрерывно уменьшались числом: хозяйка хаты как раз находилась в процессе замены устаревших носителей на новые, переписывала громадную фильмотеку на флешки. Объясняла, что есть два подхода к кинематографу: в первом случае зритель приходит в зал, садится среди других таких же зрителей и на протяжении двух часов переживает коллективные

эмоции, погружённый в особую действительность; во втором случае тот же самый зритель гораздо более свободен, его не понуждают сидеть без движения, его внимание не удерживают «драматическими перипетиями» и прочими ловкими, но простыми трюками; такой зритель – более свободный и продвинутый – смотрит кино на экране любого размера, посредством компьютера или даже телефона, он может начать просмотр дома и закончить в машине или в метро; оба подхода одинаково хороши и имеют право на существование.

Гость слушал, отхлёбывая зелёный чай: она не пила ничего, кроме зелёного чая и сухого белого вина; не курила, не ела мяса и шоколада, не признавала другой воды, кроме родниковой, и каждый вечер ей звонили приятели из Чехии и республики Гана; она не покупала гляцевую периодику и не мечтала выйти замуж за перспективного углеводородного менеджера с непременною регистрацией брака в Лас-Вегасе, штат Невада; она была чрезвычайно крутая богемная девчонка.

Гость слушал, наслаждался, любовался. Возбуждало не то, что ее дебютный фильм назывался «Юнгфрау», а то, что она сама была юнгфрау, то есть – молодая девушка.

Свободное, весёлое, сильное существо жило свободно, сильно и весело среди собственноручно написанных живописных полотен и собственноручно сделанных фотографий, среди коллекций камней, собственноручно подобранных на горе Синай и возле египетских пирамид; среди книг, собственноручно написанных её отцом-писателем и её матерью-писателем; над кухонной плитой висел до блеска начищенный тромбон; круглосуточно вращались пластинки: Radiohead, Tricky или, допустим, Чайковский Пётр Ильич.

Потом я стал оставаться. Потом мы решили, что не можем друг без друга.

Минул год – и вот я, пришелец, кривой прокуренный человек на пятом десятке, мартовской ночью лежу один на её девическом диванчике и слушаю её винил, чтобы не заснуть.

За чёрными окнами зима насмерть схватилась с весной за власть; в ход шло всё: снег, дождь, ветер, грязь, мокрый мусор, обледенелые голые ветви тополей; весь мировой мрак, сгущённый почти до состояния пластилина, прилипал

к оконным стёклам с той стороны, и два жидких фонарика по краям переулка ничего не могли с ним поделаться; художники старой школы в такие ночи пили водку на кухнях (или виски в баре на углу). Но я не художник старой школы, и давно не пью никакого алкоголя: он мешает мне жить.

Я не хотел иметь над этой женщиной никакой власти. Хотел просто быть рядом и помогать – там, где помощь, как мне казалось, была решительно необходима.

Я написал для неё сценарий, одолжил денег, подарил ей компьютер и привёл в порядок её автомобиль. А чего? Я практик, механицист. Рефлексирую и мечтаю только по субботам, в остальные дни нет времени.

Я, бля, сделался полезным.

В два часа ночи заварил себе седьмой или восьмой стакан крепкого чая и разозлился. Какого чёрта брожу здесь, как хозяин? Это её картинки, её тряпочки. Зачем вломился в её душистую вселенную? Жила себе девушка и жила, писала сценарии, снимала милые ситкомы, «Папины дочки», монтировала блокбастеры вместо вечно пьяных режиссёров-лауреатов. Дружила с весёлыми неординарными сверстниками. Всё шло отлично. Ложилась спать на рассвете. И вот появился ты, и не просто пришёл – обосновался, и вроде бы всё правильно сделал, такую женщину нельзя было упустить, – но теперь мечтаешь один по бело-синей комнате и не понимаешь: ты сделал хорошо себе или вам обоим?

Всё было на местах – все картины, книги, – всё осталось прежним, но меня стало больше, и я – её мужчина – не то чтобы всё испортил здесь, но изменил не в лучшую сторону.

В ужасе от содеянного лежал, глядя в потолок. Слушал, как Дэвид Боуи поёт про китайскую девушку. Кусал губы. Иногда трясся в ознобе. Но болеть, повторяю, было некогда, через пять часов я должен был пристегнуться к креслу и полететь к чёрту на рога, за семнадцать тысяч километров, – если полёт вообще не отменят по причине безобразной чёрной пурги.

Всего лишь один год.

Вспомнил, как пришёл сюда в первый раз: словно с обрыва прыгнул – настолько оглушительно свежими были чувства. Теперь мы ближе, чем брат и сестра, всё нормально и, может быть, даже лучше некуда, а я смотрю на её картины и книги – и хочу заплакать.

Пошёл, открыл форточку, потом не поленился, сходил на ледяной балкон, сдвинул створку и на балконе. Но не помогло.

Это была чистая грусть, без малейших искажений, очень лёгкая – то есть мне было плохо, я чувствовал боль, но она одновременно возвышала, облагораживала. Делала меня более живым.

Я заплакал, как умел, – и быстро успокоился: слёзы – даже когда их две-три – расслабляют взрослого человека, делают стабильным.

Один, ночью, в марте я лежал и плакал, сорокалетний, на маленьком диване в маленькой девичьей квартире.

Хотел позвонить ей, – но зачем будить в четыре часа утра, когда самый сон, когда по оранжевым лугам её мира идут грустные длинноногие женщины, одетые рискованно и романтично?

Конечно, я не погубил её, не растлил, как некий слюнявый гумберт. Не научил плохому. Ещё неизвестно, кто кого научил. Она сама сделала выбор, она сама всё решила. За мной не было вины – и была вся вина, какая существует, потому что я родился на двенадцать лет раньше, я был старше на полжизни; надо было как-то объяснить ей, что год – это так много и так мало...

Плакал.

Так было жаль её, так жаль, так больно было понимать – она думает, что впереди почти вечность, а ты уже пересчитал все оставшиеся годы и экономишь изо всех сил; голова наполовину седая. Так было приятно видеть её беспечность и лёгкость, и её дом весь был таким же – обителью лёгкого отношения ко всему, что есть; а я приполз – тяжёлый, лязгающий, – и всё прекратил. И теперь она носила моего ребёнка.

Утром, уже из аэропорта, отправил ей телефонную записку.

«Я украл твоё девичество».

Рейс не отменили, хотя мокрый снег валил щедро.

Уже вошёл в самолет, когда от неё пришёл ответ: «Какая чепуха!»

Мир хижинам

Отец жены умер в январе.

Я никогда его не видел. Жена не поддерживала с ним отношений много лет. Папа пил горькую. Профессиональное заболевание писателей.

Его книги выходили на рубеже восьмидесятых-девяностых, в маленьких издательствах, в Красноярске и Челябинске; повести, сборники рассказов; скромные тиражи; мягкие обложки с лубочными рисунками в три краски; ни денег, ни славы.

Три раза женился (тоже профессиональная традиция). Вырастил двух дочерей, а как вырастил – разругался с обеими: тяжёлый характер. Умер в одиночестве, в собственном доме на окраине Пскова. Сосед сообразил: не идёт дым из трубы, не видно следов у колодца. Заглянул в окно – лежит. Позвонил родственникам.

Назавтра чуть свет я повёз жену во Псков.

В тот же день из Новосибирска вылетела старшая дочь умершего. Из Сочи – сестра. Вторая сестра отправилась из Москвы следом за нами, вместе со своей дочерью и бойфрендом дочери на бойфрендовом автомобиле. Короче говоря, со всех концов страны на разных видах транспорта люди устремились исполнять родственный долг, не имея на то никаких причин, кроме совершенно бескорыстной любви к покойному: наследства он, слава богу, не оставил.

Жена нервничала. Из всего немаленького клана покойный поддерживал отношения только со своей младшей сестрой – единомышленницей. Она же устраивала его литературные дела. И вот теперь её – тётку Зою – нам следовало опередить, во чтобы то ни стало оказаться в доме отца хоть на час, но раньше, дабы изъять из архива покойного какие-то фотографии. Я не горел желанием выяснять интимные детали долгоиграющих семейных конфликтов, насчёт фотографий не любопытствовал, но скорость держал максимальную. Это мне нравилось: романтика! Погоня за архивом скончавшегося русского писателя.

На заправках покупал кофе в бумажном стаканчике и снова давил на газ.

Через белые подмосковные равнины, которые хотелось взбить, как подушку, – в тверские леса, насквозь, и от Новгорода на запад – ко Пскову, дремучими еловыми чащобами, мимо редких угрюмых деревень о шести-семи избах. Мрачно, огромно, девственно выглядел этот холодный кусок планеты; выйдешь по малой нужде на обочину, увидишь заячьи следы, засмеёшься – «ишь ты!» – и бегом в машину, на ходу застёгивая портки, пока мороз не совсем обжёт причинную часть.

По темноте въехали в город. Было минус двадцать три.

Нашли дом: чёрный, низкий, калитка настезь, везде намело твёрдого снегу. На задах темнел кособокий курятник.

Замок в сенях был сорван: до нас приходили санитары и полиция.

Воздух внутри был ледяной и горький. Зажгли свет; всё стало коричневым и словно зашевелилось.

Полусгнившее ватное одеяло занавешивало проход из кухни в комнату. Жена заплакала.

Пришёл сосед.

– Тут по домам лазают, – сообщил он. – Воруют. Забирайте всё ценное.

Угостился сигаретой и ушёл.

Комната была разгорожена, опять же одеялами, на две тесные – двоим не повернуться – клетухи. Повсюду чёрные, закопчённые образа и настенные календари давно минувших годов. Запах гари. На всех горизонтальных поверхностях, на узких рассохшихся подоконниках, на просевших под тяжестью книг полках, на корешках книг – слой печной копоти.

Всё серо-чёрное, лохматое от пыли. В дальней клетухе узкая монашеская постель, здесь же рабочий стол со старым компьютером.

Оконные рамы забиты гвоздями, я не сумел отодрать даже форточку.

Думал: вот приедем, я приберу в избе, протоплю печь, сбегаю в магазин, выпьем чаю с булками и ляжем спать, завтра тяжёлый день, похороны... Теперь было ясно: более получаса в хижине находиться нельзя, по соображениям гигиены, прежде всего душевной.

Но я очень хотел кинуть понты, изобразить перед всеми, особенно перед тёткой Зоей, бывалого деревенского парня, который умеет согреть хоть шалаш, хоть блиндаж при помощи перочинного ножа и такой-то матери. Предложил жене отвезти её в гостиницу – с тем, чтоб вернуться и всё-таки навести порядок, сорвать и выкинуть ветхое рядом, победить неказистую печь, дать тепла. Люди приедут – а хата в порядке!

Жена наотрез отказалась.

Натаскал дров, нащепал лучины топором; пока возился, жена подходила, выныривая из мохнатого полумрака, и показывала, всхлипывая, фотографии: вот я в детском садике, вот я в четвёртом классе, вторая справа, глазастая; я кивал, вытирал ей слёзы мизинцем, прижимал к себе. Во дворе деликатно скрипел валенками сосед, ему был обещан из наследства умершего весь куриный выводок.

Узкая ледяная кухня, стонут гнилые доски под ногами жены, слышны её всхлипы и равнодушный лай соседской собаки; потом проехал поезд в ста метрах от нас – и его бесконечное грубое лязганье победило все прочие звуки.

Печь задымила сразу, из множества дыр потянулись клубы цвета гнилой ваты – пришлось открыть дверь в сени и разъять окно топором. Но когда выходил во

двор за новыми поленьями и возвращался – понимал, что выветрить угар будет нелегко.

Печь несколько раз переключивали – наверное, сам отец и занимался; вместо огнеупорных кирпичей использовал обычные, вместо специальной глины – строительный раствор. Печь сочилась ядовитым дымом в пятнадцати, может быть, местах.

– Выйди, посиди в машине, – сказал я жене. – У нас есть водка, у нас есть колбаса. Погуляй. Через час всё будет в порядке. Тётка Зоя приедет – а у нас, как в песне: «в горнице моей светло...».

Жена не знала старой песни, но улыбнулась; послушалась и вышла, прижимая к груди нечистую пухлую папку. Нашла, что хотела. Тётку мы победили – теперь я хотел победить дом, он должен был служить людям, а не травить их дымом.

Сел на пол, подложив полено. Стоять в полный рост уже было нельзя, выше груди пространство заполнилось угаром, голова тяжелела.

Идея заключалась в том, чтобы сильно протопить печь. Тогда камни-кирпичи расширятся от нагрева, и щели между ними исчезнут. Затем – проветриваю избу, и – хоп! – она становится тёплой. Жилой.

Огонь гудел, дрова оказались превосходны, и вообще некоторые детали обстановки указывали на любовь покойника к порядку. Топоры-молотки-пилы висели по стенам, каждая приспособа – на своём месте; чистое ведро с кормом для птиц, и другое, ещё чище – с водой, и бумага для розжига – в особой коробке, и мятая железная посуда стояла строем; ножи наточены. Всё, без чего нельзя было совершать насущные акты выживания, содержалось в отличном состоянии. Но на ремонт печи уже, видимо, не было сил и денег.

Прижимая к носу шерстяную перчатку, я обошёл дом и забрал всё ценное. Из книг ничего не взял, кроме Блаженного Августина: «О граде божием». Редких книг было мало, но я не удивился. Покойный отец – литератор – наверняка имел хорошую библиотеку, но с приходом старости раздарил лучшие книги, или даже распродал понемногу. Теперь на чёрных полках стояли главным образом многотомные собрания медленно и верно устаревающих русских классиков. Известная история. Мой дед когда-то имел библиотеку в четыре тысячи томов,

но к семидесяти годам постепенно раздарил всё лучшее и редкое. Книги нельзя присваивать навечно: прочитав и перечитав, можно и нужно отдать другому.

Из вещей я взял старые, ещё советского производства инструменты, превосходного металла топоры и кувалды; они, как и сочинения Августина, вечные.

Угрызений совести не испытывал. Забрать вещи мёртвого – простой обычай. Тётка Зоя, по профессии балетный хореограф, вряд ли поняла бы ценность полутораметрового стального гвоздодёра.

Более того – мысль о том, что в доме папы можно будет найти много интересного, посещала меня ещё в дороге, и опять же, я не рассматривал себя как мародёра, не стыдился этой мысли, в ней не было ничего, кроме любопытства; если я и хотел обогатиться – то только знанием. Что может оставить после себя сумасшедший русский писатель? Человеческий череп, шкуру мамонта, раскольничью икону, письмо Троцкого Ленину? Закопанный в сарае обрез винтовки? Рукопись тайной доктрины?

Ничего не нашёл, кроме хорошего старого плотницкого инструмента. Сложил его на лавке, позвал жену.

– Это забираю. Ты не против?

– Конечно, – ответила жена. – Только я тут не могу больше. Дышать нечем. И ты уходи. Я устала сидеть в машине. Надо найти гостиницу.

Вышли во двор; тут я понял, что отравлен.

Мимо проскрипел сосед, прижимая к груди двух куриц.

– Совсем лёгкие, – сказал он нежно. – Дня четыре не жрали ничего.

Я кивнул. Соседа поглотил мрак. Голова кружилась.

Ничего, – подумал. Буду заходить, подкидывать новые поленья и тут же отступать на свежий воздух. Попрошу жену подождать ещё полчаса.

Дом нависал чудовищем: писательская хибара, лачуга философа-минималиста.

О, эти древние философы, Платоны-Сократы-Диогены, жители берегов благодатного Средиземного моря, – зачем они ввели тысячелетнюю моду на гордую нищету? На жизнь в бочках? Чёрта ли не жить в бочках, когда с веток свисают фиго-финики.

Что бы делал Платон, окажись он зимой в городе Пскове? Чем бы добывал себе хлеб и кров? Зимой во Пскове не обойтись крышей из пальмовых листьев. Здесь ты должен ежедневно бороться. Очаг, дрова, двойные рамы. Утепляешь стены, утепляешь двери. Питаться от плодов земли нельзя. В тунике и сандалиях не проскользишь, гордым аскетом, мимо сограждан. Изволь добыть шапку, валенки. Изволь питаться жирным и горячим – нужны калории.

В ужасе я понял, что всё здание мировой культуры покоится на придумках южных, теплолюбивых людей, – попадая к нам, северным людям, обитателям Гипербореи, их идеи отравляют нас и убивают.

Я вернулся в дом; там был угар, чад, газовая камера. Трещины, может, и сузились – но не исчезли.

Наверное, отец угорел, – подумал я. Печь всю зиму оставалась теплой. На ночь протопил – утром тут же загрузил новые дрова. Отравы копилась под потолком. Ежедневная небольшая доза угарного газа, каждый день – чуть бо?льшая. Не замечал её, привык. Запах дыма от хороших берёзовых дров часто бывает даже приятен. Гарь и сажу тоже не замечал, слишком мало света – старики не любят яркого света. Каждый день чёрное, ядовитое подступало ближе и ближе. Отмывать, чистить – не было сил. Друзей и подруг нет. Некому было сказать – остановись, рядом с тобой сгущается твоя гибель.

Может быть, ему говорили. Знал. Сам её приближал.

Кочергой протолкнул пылающие головни и подбросил свежего. Решил поберечь куртку: пропахнет – неделю буду отстирывать; надел телогрейку покойного. Потом подумал – жена увидит, опять заплачет. Снял отцову вещь, надел свою.

Последний раз они виделись пять лет назад. Папа обвинил дочь в безбожии, легкомыслии и безнравственности. Выгнал. Потом – только присылал записки, sms. Последняя – отправленная три недели назад – содержала цитату из Иоанна Кронштадского: «Любить Бога – значит, ненавидеть себя, т. е. своего ветхого человека». Я подумал, что нельзя теперь выйти к жене в рубище с драными локтями, ветхим человеком.

Может быть, он пытался договориться с тем ветхим парнем внутри себя, – но не смог, ветхий победил, обветшание тела перешло в обветшание дома?

Когда в третий раз натолкал дров и выскочил под чёрное ясное небо – потерял сознание, очнулся на снегу, боком, в правом ухе таял снег.

Дым валил из трубы, из раскрытого кухонного окна, – я проиграл, ветхое победило.

Поспешил встать – жена увидит, напугается до смерти.

Кое-как набрал в колодце воды, аккуратно залил печь.

Приехавшие родственники застали меня сидящим в углу кухни, в облаках серого пара, с чёрной кочергой в чёрной руке.

Печь шипела, как сто змей в десяти змеиных гнездах: проклинала меня, или убитого ею предыдущего владельца хижины, или нас обоих.

Поздним вечером, в гостинице, смыл с себя копоть и подержал в руках фотографии. Чёрно-белый отец – широкогрудый, в русой бороде – выглядел браво, улыбался, прижимал к себе дочерей. Ветхого человека, сидящего у него внутри, ждущего своего часа, когда можно будет начинать ненавидеть себя, свой быт, свой бранный телесный смрад, – я не разглядел, хотя смотрел внимательно.

Реальный бродяга

Он заехал в самом конце зимы. Или, может, в марте.

В тюрьме лучше не следить за календарём. Дни и месяцы похожи, время летит быстро – зачем подгонять?

Он заехал – и уже на третьи сутки всем надоел.

Его звали Заза. Родом из Осетии. Первостатейный отброс общества, можно делать чучело и выставлять в музее: «Мелкий уголовник эпохи расцвета дикого капитализма».

На воле жил так: прилично одетый, сидел целыми днями в «Макдональдсе» и ждал момента вытащить кошелек из дамской сумочки. Разжившись деньгами, покупал героин, двигал по вене, отдыхал, брился и начинал сначала.

При тоталитарном режиме с такими не церемонились. В крупные города вообще не пускали, а когда ловили – сразу отправляли в тундру и тайгу: ненадолго, лет на пять.

Однако в новой свободной России ушлым ребятам дали волю, и ушлые ребята десятками тысяч рванули в Москву, ибо тут кошельки у граждан были заполнены до отказа.

На седьмой день мне захотелось увидеть его маму. Хотя бы фотографию. Что за женщина изловчилась родить такое? Кто переносит из колена в колено столь специфический генный набор?

Непосредственно под нами, этажом ниже, сидели больные СПИДом, целая отдельная камера; там у Зазы нашлись приятели. Заза развил бурную деятельность. Иглы, шприцы и белый порошок еженощно путешествовали сверху вниз и обратно: по «дороге», из окна в окно, меж решёток и «ресничек», в крепкой верёвочной петле.

Заза запрыгивал на решётку, вцеплялся в прутья длинными, как у всех карманников, пальцами, изгибал худую спину, оборачивался назад и приказывал:

– Тише в хате!

Разговоры смолкали, и Заза вызывал на разговор корефанов с нижнего этажа. Беседа велась на родном наречии. Я всё понимал без перевода. Если друзья соглашались поделиться кайфом, Заза спрыгивал с подоконника счастливый. Если поступал отказ, Заза спрыгивал злой.

В свободное время он ходил по хате и благовал.

К нам соваться сначала боялся.

Мы держали в хате «масть», то есть власть; четверо нас было. Один сидел за убийство с особой жестокостью, второй – за вооружённое ограбление, третий – за контрабанду палладия. Четвёртым был я, обвиняемый в хищении полутора миллионов долларов.

Мы были разные, но придерживались одинаково дикарских взглядов. Мы считали, что хлеб надо делить, врагов – убивать, а женщин – любить и оплодотворять.

Сидевший за убийство в прошлом был кандидатом в сборную Москвы по греко-римской борьбе, сидевший за контрабанду имел высшее техническое образование. Я когда-то грыз науки в Московском Университете. Один бог знает, почему мы не стали учёными, инженерами и атлетами. Но нам было по двадцать пять – двадцать восемь, мы верили, что отсидим и наверстаем, и эта вера была крепка.

В девяносто девятом году уже было понятно, что в России всё крепко. Много лет страна шаталась. Грохотали и воняли мазутом войны. Аферисты с физиономиями спивающихся мастурбаторов создавали грандиозные финансовые пирамиды. Бесшумные барыги в роговых очках скупали нефтяные поля и алюминиевые рудники. Президент жёстко бухал. В редакциях газет гремели взрывы. Всё шло к развалу – но вдруг не развалилось, кое-как наладилось, задышало и запыхтело. То ли нефть подорожала, то ли народ понял, что лучше быть живым,

чем подохнуть. Мы – сутулые, коричневые обитатели следственной тюрьмы – ловили новости с воли и понимали: не будет развала. Не будет разгула преступности. Чтобы выжить и накормить семьи, теперь не нужны ножи, автоматы и бицепсы. Нужны знания и мозги.

Зазу мы сначала не воспринимали всерьёз. Ты кто – крадун? Тюрьма – твой дом? Очень хорошо, будь как дома. Иди и займись чем-нибудь. Хочешь отдельную шконку? Это никак невозможно, люди спят в четыре смены. Тут ни у кого нет отдельной шконки. У меня тоже. Я вообще не сплю. Хлопот немеряно. Отвечаю за Общий Груз. Знаешь, что это такое? Девять килограммов чая, одиннадцать килограммов карамельных конфет и сто девяносто пачек сигарет, половина с фильтром, половина без фильтра. Наша хата отправляет грев на соседний корпус, старикам, они сидят всю жизнь, некоторые по тридцать лет. «Особняки», или «особисты», – особый режим, самый страшный. За многие годы организмы стариков переродились и не умеют принимать ничего, кроме чая, конфет и курева. Ещё мы гоним грев на женское отделение – бабам с грудными детьми, «мамкам»: постельное бельё, футболки, полотенца. Есть и другие места, куда идёт от нас посильная помощь. И это, брат, только часть движения, только Общий Ход, а есть ещё Воровской Ход, про который я ещё не с каждым говорить буду...

Когда Заза пришёл к нам в первый раз – мы ему сразу это всё обрисовали, и отправили восвояси, и ещё напомнили, что он, профессиональный преступник, ни разу не принёс на Общее ни сигаретки, ни куска сахара, ни рубля наличных. На героин есть, а на воровскую потребность – нет... Такие движения не красят порядочного арестанта... А ведь сказано: где людское – там и воровское... Всё в таком духе.

Но он не внял.

Молодой, крепкий, с некрасивым, однако энергичным лицом. Хорошие белые зубы. Всё же он отличался от большинства в лучшую сторону. Более активный и выносливый, более умелый в адаптации. Сам я привыкал к общей камере месяц, переболел простудой и покрылся язвами, – а этот спустя десять дней и зубную щётку раздобыл, и тапочки почти новые.

Я смотрел вглубь хаты и видел, как твёрдый взгляд Зазы скользит по лицам.

Прошло ещё время. Заза сделался угрюм. Думаю, при аресте он протащил с собой в тюрьму какие-то деньги – и постепенно тратил их на героин, пока все не потратил. Новых денег не предвиделось, чая у него не было, сигарет в обрез, да и те скверные.

Я видел, как он боролся. За месяц оброс, бродил неприлично лохматый, потом попросил мужиков – те побрили его. С голым черепом Заза стал похож на эпизодического персонажа из сериала про благородного грузинского разбойника Дато Туташиа.

Обычно сидел на краю лавки, стиснутый плечами сокамерников, курил одну за другой, весь в поту, мрачный, но не удручённый. С кривой улыбкой сидел, жестоко и матерно пересмеиваясь с окружающими. Воля у него была, да. Хотел жить, хотел наслаждаться.

Потом совсем перестал смеяться и шутить. Стал выходить на прогулку. И даже отжался раз десять от цементного пола. Но героин был сильнее Зазы.

В тюрьме говорят: где героин, там и блядство.

Тихий арестант Стёпа пожаловался, что Заза назвал его чёртом. Это было тяжёлое оскорбление. Заза потребовал назвать очевидцев события. Стёпа очевидцев не нашёл. Заза получил со Стёпы: нанёс удар кулаком в грудь.

Ещё более тихий арестант Рахмон Рахмонов, по профессии повар, по убеждениям талиб, сказал, что Заза толкнул его ногой. Заза отрицал. Пообещал устроить масштабное разбирательство и отписать смотрящему за централом. К счастью, в ту же ночь Рахмон Рахмонов уехал на суд и не вернулся: освободили.

Арестант Феофан проиграл Зазе в карты внушительную сумму, наличных не нашёл, отдал долг трусами, бритвенными станками и мылом. Заза был очень недоволен, громко ругался на двух языках, ему сделали замечание, он не успокоился и заявил, что в хате «всё неправильно».

К концу марта, или к середине апреля, мы от него устали. Но никто ничего не мог поделать. Заза действительно был профессиональный преступник, тюрьма действительно была его домом, и в этой тюрьме, в этой камере бессмысленному

наркоману Зазе действительно полагался полный набор всех благ, включая персональную шконку и шерстяное одеяло. Воровская постанова везде одинакова. Увы, она не предусматривает существования в условиях крайней тесноты.

Увы, слишком много юношей приезжало в те годы в Москву из южных городков, чтоб вытаскивать кошельки у московских женщин, и все эти смелые юноши думали, что их не поймают, а если поймают, в тюрьме им будут приносить тапочки и намазывать жёлтое масло на белый хлеб.

Он расхаживал, искусно вращая в пальцах сделанные из хлеба чётки, и однажды устроил истерику: продекламировал, что его брат – подельник вора в законе, что сам он с двенадцати лет ворует, что живёт кристальной жизнью, строго по понятиям, что в хате держат масть гнилые коммерсанты, а реальные бродяги девятый хер без соли доедают.

В тот же день пластиковый шприц Зазы прохудился от частого кипячения. Несчастный Заза попытался разогреть край шприца над пламенем зажигалки и запаять дыру, едва не устроил пожар. Вся хата наполнилась едким дымом, спящие проснулись от удушья и вони. Впрочем, многие не удивились. Как правило, у реальных бродяг, живущих кристальной жизнью, руки растут из задницы: ни один не способен зашить прореху в наволочке, ни один не умеет отремонтировать кипятильник.

Запах жжёного полиэтилена держался долго.

Мы собрались вчетвером, позвали Зазу, задёрнулись тряпками и сказали:

– Заза, ты всё время делаешь кипеш. Ты скандалист.

– Заза, брат! Ты шумишь, ты привлекаешь внимание мусоров. Через нашу хату идёт такой движняк, что мы не можем рисковать.

– Угомонись немного, Заза. Будь потише. Всё то же самое, только потише.

– Это просьба, Заза.

- Если чем-то недоволен, пиши кому хочешь.

- Более того, мы прямо сейчас можем дать тебе телефон: звони любому авторитету, любому вору - мы ответим...

Заза сверкнул глазами.

Телефоны были строго запрещены. Свой аппарат мы тщательно прятали. Но раз в два месяца охрана производила большой шмон и находила тайник. Приходилось опять собирать деньги и организовывать доставку с воли.

Заза посмотрел на телефон, но в руки не взял. Наверняка он имел влиятельных криминальных друзей - но, увы, не помнил их номеров.

- Звонить не буду, - сказал он. - Отпишу.

- Отписывай.

- А ты мне не укажешь.

- Надо будет - и укажу, и на жопу посажу.

- Посмотрим.

- Увидим.

С тем он и ушёл.

Мы посоветовались, и я написал заявление: потребовал вывести к доктору. Утром следующего дня страдающий от жестокого похмелья вертухай завёл меня в медицинский кабинет, и там я тихо попросил врача устроить мне встречу с кумом.

Врач не удивился. Я проделал всем известный манёвр. Нельзя просто подойти к кормушке и потребовать встречи с оперативным работником. Сокамерники не поймут. Зачем тебе кум? Что ты желаешь ему сообщить? Может, ты на него

работаешь?

Я не был осведомителем. Стукачей обычно вербуют среди недовольных – я не принадлежал к их числу. Всё это игра, цирк для впечатлительных дураков. В каждой камере есть осведомители – но о чём они осведомляют тюремную администрацию? Деньги запрещены, но они есть у всех. Наркотики строго запрещены, но по тюрьме гуляют килограммы героина, метадона, опиума и гашиша. Азартные игры запрещены, но у каждого реального бродяги в кармане лежит колода искусно сделанных самодельных карт. При каждом шмоне запрет изымается центнерами, а спустя неделю арестанты снова шпилят и ширяются.

За мной прислали незнакомого мне молодого сержанта. Новое камуфлю туго обтягивало его квадратные плечи, весь он был тугой и сильный, ещё не провонявший, ещё румяный, и ему, может быть, даже нравилась его работа.

Долго вели – вверх, вниз, через решётки и тяжёлые двери, по коридорам с пыльными коврами дорожками.

...Стол кума был знаменит на весь централ. Под стеклом на этом столе лежали фотографии самых активных и опасных негодяев нашей тюрьмы. Воры, авторитеты, убийцы – все оголтелые и отпетые, конченые и отмороженные смотрели из-под локтей моего собеседника. Было множество групповых снимков: полуголые, татуированные сидят тесно за чифиром или даже за водкой на фоне огромного растянутого полотенца или простыни с каким-нибудь эффектным принтом (обычно это тигриная морда). Изучая на досуге лица и комбинации лиц, кум понимал, кто чей «братан» или «близкий».

Оперативники следственной тюрьмы не бегают с ключами по коридорам и не водят грязные вшивые толпы в еженедельную баню. Оперативники – их называли «кумовьями» ещё при Сталине – изучают уголовников, как Миклухо-Маклай изучал папуасов. Где берут алкоголь, стафф, наличные? Не замышляют ли побега? Не конфликтуют ли до градуса смертельной вражды?

Два месяца назад у нас на этаже убили арестанта. Не в моей хате – в соседней. Говорят, четверо взяли несчастного за руки и за ноги, подбросили вверх и с размаха грянули об кафельный пол, и так несколько раз, пока не лопнул череп. Говорят, кум был в ярости. Камеру, где произошло убийство, расселили, каждого

допросили, многих избили, отобрали весь запрет, включая самый невинный: иголки даже.

- Есть проблема, - сказал я куму.

- Излагай, - разрешил он.

- У нас сидит такой Заза. Это имя его. Фамилии не знаю. Но Заза у нас один...

- Я понял, понял, - сказал кум. - Что дальше?

- Уберите его из хаты. Или мы его сломаем.

Кум посмотрел на меня без особого любопытства - так, запомнил на всякий случай - и проехался локтями по бледным лицам подведомственных негодяев. Негодяи скалили коричневые зубы: нам всё нипочём!

- «Вы» - это кто? - спросил кум.

- Сам знаешь.

- Это всё?

Я кивнул. Меня вывели.

Врач дал мне несколько пачек бинта и банку заживляющей мази, хотя я его не просил. Мазь нужна летом, когда все гниют, когда вши, а зимой и весной арестанта только чесотка мучает.

Утром нового дня выводной надзиратель через отверстие люк кормушки выкрикнул четырёхсложную фамилию Зазы. Тот не поверил, пошёл переспрашивать, вернулся расстроенный.

- С вещами заказали!

– Странно, – сказал Зазе тот, кто сидел за контрабанду палладия. – Давай денег дадим. Выкупим тебя.

– Благодарю, – гордо ответил Заза. – Обойдусь.

И пошёл искать свои ботинки, но не нашёл, и в неизвестное будущее отправился в шортах и тапочках.

По слухам, он попал на четвёртый этаж, в сто тридцать пятую хату. Его ботинки мы потом обнаружили и попытались переслать владельцу по «дороге» – но каблучки не пролезли сквозь решётку.

Я его встретил в автозаке через месяц, в разгар весны.

В автозаке кого только не встретишь. Каждое утро из тюрьмы выезжают около тысячи мрачных и провонявших никотином злодеев. В суды, в прокуратуры, в следственные управления и следственные комитеты, в казённые дома разнообразных функций и названий. Вечером всех возвращают назад. Большинство видят друг друга в первый и последний раз.

Машину качало, со всех сторон в меня упирались локти и плечи соседей, в отсек на восемь мест забили двадцать тел, некоторые сидели на коленях у других, а двое висели под углом пятьдесят градусов, упираясь руками, ногами и твердокаменными арестантскими задницами.

В двух местах боковая стенка кузова имела дырки, каждая не более двух миллиметров, оттуда проникало забортное свечение свободы, и прижатый ко мне человек, удобно и чисто одетый, отодвинул соседей и приник глазом к отверстию. Оранжевая спица света воткнулась в его тёмный зрачок.

– Солнце! – вскричал он с угрюмым восторгом и повернулся ко всем.

Но его радость никто не разделил.

– Как ты, Заза? – спросил я.

Он узнал меня. Дёрнул щекой и ответил с презрением:

– Нормально. А ты?

– Отлично.

– Сидишь там же?

Я кивнул.

Заза помолчал несколько мгновений и сообщил:

– Имей в виду... Те вопросы, что я поднимал в вашей хате... Я их ещё подниму.

На угрозы положено реагировать добрейшей, ласковейшей улыбкой: вэлкам, братан!

– В любое время, – сказал я. – В любое время, Заза.

Он выглядел отлично. Перемещение из одной камеры в другую явно пошло ему на пользу. Видимо, прибился к своим. Научился жить. Еду, одежду, кайф – всё раздобыл. В карты выиграл или выпросил «по-братски» у какого-нибудь двадцатилетнего дурака, пойманного за кражу автомагнитолы.

В разных хатах разные люди живут; в нашей камере у Зазы не получилось, но на новом месте бог воров явил свою милость к потрошителю дамских сумочек.

Он улыбнулся ответно. Ловкий, уверенный, собранный, жующий жвачку. Со стороны мы, наверное, были похожи на старых товарищей.

Больше мы с ним не говорили, хотя были прижаты грудь в грудь.

Его вывели через час, в Савёловском суде.

Когда за его спиной лязгнул дверной замок и мы, оставшиеся внутри, опять оказались в полумраке, кто-то дёрнул меня за штанину и произнёс:

– Слышь, друг. Ты зря об него тёрся. Он на первом этаже сидит, в спидовой хате.

Через шесть лет я его встретил в Москве, у входа в метро «Крестьянская застава», в редкой толпе в девять часов вечера. Он подошёл ко мне и текучим движением руки – локоть прижат – вынул из кармана чёрных штанов дорогой мобильный телефон.

– Не нужен? – спросил он. – Вообще новый! С документами.

Я коротко махнул рукой: нет.

Заза меня не узнал.

Он был потрёпан и сед, однако на драйве. Глаза слегка ввалились, но глядели неглупо и с вызовом.

Он почти не изменился: героиновые наркоманы с годами частично мумифицируются. Может быть, он даже издавал шуршание при ходьбе, но в общем остался самим собой, и до старости его было далеко.

Умирать от вируса иммунодефицита он явно не собирался.

Я его пожалел. Не знаю, почему. Просто стало очень жаль человека – и всё. Не до слёз жаль, по таким не плачут, но всё же очень жаль.

Я спешил, говорить нам было не о чем, приступ жалости длился от силы полминуты. Не вступив в разговор и никак себя не выдав, я отвернулся и пошёл своей дорогой.

Последняя мысль была не новая: «бог с ним!».

Малой кровью

Писатель выехал за час до полуночи.

Обычно ездил в спальном вагоне: любил комфорт и не любил попутчиков. В более сытые и денежные времена даже мог взять двухместное купе целиком. Ради уединения.

Лучший его друг однажды сказал: «Не путай уединение с одиночеством».

Сейчас для него настали времена не слишком сытые. Не бедствовал, конечно; однако доплачивать за уединение уже не хотел. Тридцать девять; в таком возрасте уже не хочется доплачивать миру; уже пора наладить так, чтобы мир доплачивал тебе.

Да и спальные вагоны стали хуже. Пыль, скрип дешёвого пластика, серые простыни.

В прошлый раз он ехал с сыном – хотел показать мальчишке весенний Петербург. Май случился холодный, отопление в вагоне не работало (проводница небрежно извинилась: «сломано; чиним»). Писатель замёрз, и с тех пор дал себе слово больше не ездить в спальнях вагонов. Холод, грязь – бог с ним, в тюрьме или казарме бывало и хуже, но там это входило в правила игры, а здесь оставалось только копить раздражение. Поезд, курсирующий меж двух столиц огромной страны и состоящий из вагонов «повышенной комфортности», в холодные ночи надо отапливать, не так ли?

В этот раз взял обычное купе. Бросил на полку тощий рюкзак, вышел в проход, дождался соседей: сначала – небритого дядьку с обычным лицом обычного человека, потом девушку с лёгкой улыбкой и тяжёлой задницей, грамотно приподнятой каблуками – слишком высокими. «В дорогу могла бы надеть более простую и удобную обувь», – с неодобрением подумал он и пошёл в ресторан.

Бестолковых, неумных женщин не любил с ранней молодости. Однако почему-то именно бестолковые нравились ему более других. В бестолковости тоже есть своя энергетика и свой шарм. Однажды он выбрал из всех бестолковых наименее бестолковую и женился.

В ресторане ему сразу стало хорошо. Выпил водки, раскрыл компьютер и стал работать. Водка была ни при чём, ему нравилась работа, а особенно нравилась

дорога. Перемещение в пространстве возбуждало. Он ценил чувство оторванности. Чтобы описать нечто, надо от него оторваться.

Он писал два часа, потом устал и выпил ещё – не от усталости, а чтобы продлить удовольствие. Чуть позже пришла девушка, с той же улыбкой и той же задницей, на тех же каблуках; села напротив. Писатель – опытный пассажир ночных поездов – пришёл в ресторан раньше прочих, и теперь один занимал четырёхместный стол; к нему, разложившему меж кофейных чашек умную электронную машину, за весь вечер не подсел ни один проголодавшийся. Все заявлялись компаниями либо парами и находили свободные места, не потревожив писателя; или, что вероятнее, принимали его за местного ресторанного менеджера, подсчитывающего дебет и кредит, поскольку стол его был крайним, рядом с кухней; так или иначе, писатель не удивился соседству незнакомки. Довольно рискованно, имея длинные каблуки, сидеть одной, в два часа ночи, в вагоне-ресторане, где в одном углу дремлют – мокрые лбы, галстуки набок – четверо перебравших коммивояжёров, а в другом пьют пиво двое широких, коротко стриженных альфа-самцов, общей массой в триста килограммов. Если бы писатель был девушкой на каблуках, он тоже подсел бы к такому, как он. Невысокому, почти трезвому, слева компьютер, справа записная книжка.

Итак, она ехала к любовнику. Она свободна, он женат, она в одном городе, он в другом, разводиться не хочет (из-за детей, спросил писатель; собеседница кивнула), он оплачивает ей еженедельные путешествия и гостиницу (щедрый, сказал писатель; собеседница пожала плечами).

Писатель представился писателем и добавил, что названия его книг вряд ли что-то ей скажут.

Она слегка оживилась.

Он угостил её алкоголем.

Чувствую себя дурой, призналась она, расслабившись после третьей рюмки. Отношения не имеют перспективы. Неохота терять время. Он сильно старше, я его не люблю. Но он хороший. Приличный, сильный и умный. Высокопоставленный, уточнила она, проглатывая гласные. Не знаю, что делать.

Выпейте ещё, сказал он, с удовольствием удерживаясь от того, чтобы предложить перейти на «ты». Нет, мне хватит, возразила она. Хочу, но не буду.

– Что делать? – переспросил он. – Очень просто. Расслабиться. Вы молоды – наслаждайтесь. Хотите спать с мужчиной – спите. Хотите выпить ещё – выпейте. Радуйтесь. Вам хорошо сейчас?

– Да, – ответила она, серьёзно подумав; её хмельная серьёзность, устремлённый в никуда взгляд основательно затуманенных глаз развеселили писателя.

– Вот и славно, – сказал он. – Удерживайте это состояние. Получайте удовольствие. Мне сорок лет. Женился в двадцать. Бросил учиться, пошёл работать. С тех пор не прекращаю. Всё время думал, как вы... Переживал о перспективах... Боялся потерять время... К чёрту это. Живите здесь и сейчас, ничего не бойтесь. Молодость дана, чтобы радоваться.

– Да, – сказала она, и посмотрела благодарно. – Велите принести ещё водки.

Потом он вышел в тамбур, выкурил сигарету. Когда вернулся, над его собеседницей нависал один из широких альфа-самцов: видимо, делал хамское предложение. Второй ждал за своим столом, сосал бледную креветку.

Писатель грустно подумал, что шансов нет. Если, допустим, разбить бутылку и воткнуть в спину или плечо... В любом случае, победить широкоплечего тяжеловеса можно только внезапностью и коварством. В затяжной схватке шансов нет, совсем. Девушка, однако, вежливо и коротко отвергла домогательства, и альфа-сладоэротик отвалил, прежде чем писатель подошёл на расстояние, достаточное для удара.

Наверное, нам пора, сказала она.

Он кивнул, попросил счёт; когда прошли мимо альфа-самцов, писатель отвернулся, а спустя несколько мгновений подумал, что нельзя было просто так мимо проходить, и ощутил первобытную досаду.

Девушку он не хотел, а хотела ли девушка его – ему было неинтересно. Воткнуть что-нибудь острое в плечо альфа-гиганта следовало не ради девушки, а ради

себя. Писатель вырос в маленьком фабричном городе и с ранней юности знал, что сидящая за чужим столом девушка – это чужая девушка. Неважно, кто она, с кем пришла и с кем уйдёт. Важно, кто ей наливает в данный момент. Эту простую мысль надо было донести до альфа-болванов, желательно при помощи удара по голове. Но писатель не ударил, даже взгляда не послал. Испугался. Благоразумно решил не искать приключений.

У благоразумия отвратительное послевкусие, уныло подумал он сейчас; влез на верхнюю полку и отвернулся к стене. Новая знакомая, вернувшись из туалета, решила продолжить разговор, проснувшийся сосед вяло вступил в беседу, речь пошла о любви; писатель с облечением подумал, что девчонка просто хочет поболтать, и заснул.

Отель находился в пяти минутах пешком от вокзала. Писатель уже несколько раз останавливался в этом отеле, и, когда жена попросила рекомендовать приличное место – он не только назвал адрес, но и сам позвонил, забронировал номер. Тот, в котором обычно жил сам. Напомнил, что он постоянный клиент, – ему тут же всё сделали. Мини-отель принадлежал, судя по всему, толковым людям, персонал был доброжелателен и ценил постоянных клиентов. А писатель ценил тех, кто его ценит, пусть не в качестве писателя, но хотя бы в качестве постоянного клиента.

Частная гостиница на пять номеров, бывшая коммунальная квартира в обычном жилом доме, – нет, не в обычном: в настоящем, классическом питерском доме, с чередой немилосердно закатанных в асфальт дворов-колодцев, соединённых сумрачными арками. Железные крыши, гулкие лестницы, – специальная экзотика для тех, кто понимает. За углом – сразу три местных кафе, каждое со своим колоритом, в одном алкоголь и байкеры в садо-мазо-коже, в другом дамы с пирожными, в третьем просто можно хорошо поесть. В пятидесяти шагах – Невский проспект.

Сырость сразу ухватила за лицо и руки. Холодно, влажно; писатель продрог ещё до того, как дошёл до цели.

Долго смотрел на тёмные, закрытые шторами окна номера. Восемь утра. Либо она уже убежала по своим делам – и это плохо; либо она вот-вот проснётся и зажжёт свет, и это хорошо; тогда он сможет увидеть силуэты. Жену угадает

сразу. Если в номере будет кто-то второй – писатель попыбует понять, мужчина это или женщина. Если по каким-то признакам сразу станет ясно, что второй постоялец – мужчина, писатель пойдёт назад, на вокзал, и уедет первым же поездом.

Например, второй обитатель номера отодвинет шторы, откроет окно и закурит.

Хотя жена терпеть не может табачного дыма и вряд ли разрешит ему курить.

Или она любит его? И всё позволяет?

Лучший его друг однажды сказал: «Пусть они любят нас курящими, пьющими и нищими».

Когда окна зажглись, писатель слегка запаниковал, но быстро успокоился.

В молодости он, бывало, практиковал слежку. Его нанимали для поиска тех, кто задолжал деньги. Как ни странно, бизнес по выколачиванию долгов считался в те годы скучным и малоприбыльным; умные люди, начав с лихих дел, при первой возможности переключались на нечто более интересное, вроде торговли конфетами или штанами. Писатель поступил точно так же и впоследствии вспоминал о своих уличных подвигах безо всякого удовольствия. Для слежки нужен человек с непримечательной внешностью, а писатель был тощий, злой, сухой малый; когда пришло время сесть в тюрьму, потерпевшие граждане легко опознали писателя среди множества статистов.

Окна зажглись, и он быстро понял, что переоценил свой опыт. За шторами двигались бесформенные тени; он смотрел почти час, но понял только, что в номере двое.

Она говорила, что поедет целая делегация, четверо. Писатель не стал уточнять подробности.

Потом окна погасли, и спустя несколько минут жена вышла. С ней – две женщины и мужчина. Подбадривая друг друга, пошли в сторону Невского. Писатель стоял слишком далеко, чтобы составить мнение о внешности мужчины. Во всяком случае, тот был молод, неплохо одет, шагал широко, смело и двигался

впереди всех; три дамы – следом.

Пешком пошли, подумал писатель, даже такси не заказали; экономят.

Он негромко выругался и нырнул в ближайшее кафе.

Жена его любила шумные компании. Закончив дела, она не пошла бы в отель, коротать длинный командировочный вечер. Зачем отель, если вокруг – большой красивый город, со всеми его театрами и ресторанами? Писатель выпил два кофе и три коньяка. Надо было ждать.

Почему-то ему казалось, что он заглянет в окна, увидит её выходящей из отеля, или входящей в отель, – и сразу всё поймёт. А если посмотрит на её приятелей – поймёт тем более. Уловит какие-то сигналы, волны, импульсы. Если меж двоими есть связь, внимательный наблюдатель сразу её вычислит.

Теперь он сидел, продрогший, почти трезвый, и злился на себя – как, бывало, злился в молодости, когда непрерывное, в течение двух или трёх суток, наблюдение за каким-нибудь недотёпой не давало результата, или, точнее, давало отрицательный результат: недотёпа, задолжавший крупную сумму, не посещал, в отливающем пиджаке, казино и стрип-клуб, не столовался в дорогих ресторанах и не сдувал пылинки с коллекционного «Феррари», спрятанного в тайном гараже, а влачил постыдно унылое существование мещанина. Куда дел деньги – неясно. А так хотелось вернуться к заказчику и сказать: «Я нашёл! Он живёт двойной жизнью, он тайно от вас строит собственный кирпичный завод».

Тогда писателю было двадцать два года, и он ещё ничего не написал, но писательское воображение уже играло с ним злые шутки.

Он думал, что люди живут интересно, ярко, бурно, плотно. А они жили скучно и вяло.

Он не верил. Он потратил пятнадцать лет, чтобы найти тех, кто живёт интересно, и в итоге обнаружил, что самый интересный человек, встреченный им за полтора десятилетия непрерывных поисков, – это он сам.

Выпив ещё две рюмки, он стал злиться уже не на себя, а на жену. Выпрыгнула бы из отельных дверей, сияя и хохоча, на каблучищах, в драгоценных камнях, под руку с мощным, широкоплечим, белозубым, – тогда он, её муж, испытал бы боль, но и восхищение. А так он чувствует только досаду. Опять ничего не происходит. Опять ничего не ясно. Только тени за шторами, только смутные подозрения.

Он поел, очень медленно, и убил почти полтора часа. Убивать время – великий грех, но иногда у человека нет другого выхода. Вышел на Невский, побрёл было, глаза, на манер западного туриста, на тяжеловесные фасады, – но вдруг испугался, что случайно наткнётся на жену; свернул в переулок и укрылся в первом же попавшемся баре. Город был серый, стылый, безучастный, созданный не для людей, а ради великой идеи, но заведений на любой вкус и кошелёк здесь было достаточно. Когда-то, ещё в детстве, писатель дважды приезжал сюда с родителями – ходить по музеям, пропитываться культурой, – и уже тогда обратил внимание на обилие кафе и закусовых. Мать, в ответ на вопрос, пожала плечами. «Они пережили блокаду, – предположила она. – Умирали от голода. Наверное, страх перед голодом навсегда въелся в их память и заставляет их открывать ресторанчики в каждом удобном полуподвале...»

Люди города, впрочем, уже тогда показались писателю лишёнными страха. Сложенный из массивного камня, город выглядел прочно. А теперь, спустя тридцать лет, местные жители и вовсе выглядели спокойными европейцами; разумеется, к созданию множества ресторанов и баров их подтолкнул не страх, а здоровая балтийская предприимчивость.

Писатель достал было ноутбук, но даже не включил. Досада никуда не делась. О работе не могло быть и речи. Глупо. Очень глупо. Ревнивец приехал следить за супругой – но взял с собой компьютер; чтоб, значит, не терять времени. Глупо, странно, смешно. Ревнивцы так себя не ведут.

«Иди к чёрту, – сказал он себе. – Ревнивцы все разные, и ведут себя по-разному. Ты разве специалист по ревности? Ты вообще не ревнуешь. Просто хочешь знать. Тебе кажется важным знать, было или нет. Сам факт...»

Бар оказался дурной, душный, неудобный. Снаружи пошёл дождь, люди быстро забили узкое помещение, и писатель оказался в западне. Встать, уйти – за порогом харчевни холод, ветер, небесная вода; не найдёшь более чистого места, вернёшься, – стол уже займут. Остаться – дышать кислыми запахами, слушать

финскую, немецкую, английскую речь; языков писатель не знал, и сейчас опять устыдился своей необразованности.

Попросил ещё дозу коньяку; решил расслабиться.

Это было легко. Писатель не забывал, что его создали, породили – именно дешёвые прокуренные кабаки. Половину сознательной жизни он провёл в дымных, полутёмных заведениях, где публика из нижнего среднего класса отдыхала по вечерам от своих забот. Здесь он ел, сочинял, назначал встречи. Много курил. Пил; иногда много, иногда мало. Ел всегда мало. Писал всегда много.

В какой-то момент – может быть, три года назад – понял, что его жена устала от такой жизни. Она его не понимала. Она звала его в Рим, в Прагу, в Барселону. Он соглашался, но на третий день пребывания в любой европейской столице находил дешёвый прокуренный кабак – и, отыскав, успокаивался. А успокоившись – понимал, что европейские дешёвые кабаки много скучнее русских дешёвых кабаков.

Дождь прекратился, и он вышел под низкое небо.

Его считали интересным человеком, и книги его были полны интересных историй. Только жена знала, что на самом деле писатель – молчаливое, скучное существо, и все его развлечения сводятся к телевизору. Свои сюжеты он черпал из времён молодости; событий было столько, что теперь он мог писать всю жизнь, ни на что другое не отвлекаясь. А жена возражала, и однажды он понял, что у неё есть другой мужчина.

Не понял, – заподозрил.

Для слежки нужен автомобиль. Когда стемнело, писатель взял такси. Очутившись в странно чистом салоне, осведомился, можно ли курить. «Извольте», – ровным голосом ответил драйвер; сразу стало ясно, что для сегодняшних целей он не подходит. Писателю стало смешно. Обычно водители такси раздражали его бесцеремонностью, запахом носков и рудиментарным музыкальным вкусом, но вот – редкая удача, за рулём настоящий интеллигент. И что? Он не нужен, а нужен среднестатистический выжига, пропахший

бензином трудящийся. Пролетарий педалей. «С интеллигентами всегда так, – подумал писатель. – Они всегда возникают не вовремя».

Попросил остановить на углу Невского и Марата, вышел. Расплатившись, сообразил, что деньги надо перераспределить. Отделил несколько купюр от общей пачки, положил в карман штанов, остальные – в пиджак, рядом с сердцем. Посмеиваясь над собой, пересёк улицу и поймал ещё одну машину – на этот раз вполне удачно. Таксист был молод, ухмыльчив и выглядел ленивым негодяем. Писатель всегда любил негодяев, он много лет прожил в среде негодяев и хорошо знал, как себя держать в обществе негодяев. Он показал деньги и объяснил, что нужно делать. Таксист азартно сверкнул серым глазом и золотым зубом. Он ничем не рисковал. Лучше стоять, чем ехать. Лучше ничего не делать, чем делать что-нибудь. Разумеется, при условии заранее оговоренной оплаты; деньги вперёд.

Они встали на противоположной стороне улицы – так, чтобы видеть и окна номера, и вход в отель. Ожидание могло растянуться на много часов; писатель расслабился и слегка откинул спинку кресла.

От скуки водила неизбежно затеял обычный, достаточно бессмысленный разговор, но писатель сразу прервал его и стал говорить сам; и это был монолог. Давно известно, что любого бессмысленного болтуна можно успокоить, если сразу забить ему весь эфир. Заставить слушать себя. У писателя имелись несколько заготовленных монологов, каждый можно было длить сколь угодно долго. Тотальная коррупция, война, цены на бензин в Европе и Азии, оружие, тюрьма, бесчинства инспекторов дорожного движения, авиаперелёты, азартные игры, автомобили и мотоциклы. А вот я однажды в Барселоне; а вот я однажды в Амстердаме. Общие фразы нежелательны – болтун сразу тебя перебьёт. Нужны только конкретные истории, слепленные по правилам драматургии, с началом, серединой и концом. Хорошо идут упоминания о крупных денежных суммах. А вот я однажды отдавал человеку пятьдесят тысяч немецких марок, это было ещё до введения евро, и человек приехал на встречу, надев под рубаху резиновый пояс, чтобы надёжно спрятать богатство на собственном теле, и удивился, увидев, вместо многих лохматых пачек, тоненькую стопку; он не знал, что существуют купюры номиналом в тысячу марок... И так далее. Истории выскакивали из писателя сами, одна тянула другую, эпизоды перекладывались решительным уголовным жаргоном, грубой бранью и скупыми жестами.

Так прошло почти четыре часа, шофёр устал, скурил все свои сигареты, и писатель угостил его, – а потом увидел жену.

Собственно, повторилась утренняя расстановка, однако в обратном варианте. Сначала, оживлённо беседуя и даже устраивая взрывчики беспечного смеха, прошли три особи женского пола; мужская особь – уже без галстука, пальто нараспашку – замыкала процессию. Левую руку отягощал плотно набитый пакет с логотипом недорогого супермаркета. Напрягшись, писатель успел рассмотреть в свете фонаря лицо – вполне обычное. Увесистые щеки тридцатилетнего парня, не склонного к авантюрам, в меру обаятельного, безобидного. Удалось даже понять, что джентльмен рассматривает фигуры трёх своих спутниц. «Выбирает, – злобно подумал писатель. – Их трое, он один, вся ночь впереди... Но если она – с ним, это катастрофа. Он скучен. У него скучная причёска, скучные уши, скучные ботинки. Что у него в пакете – кефир?..»

Зажглись окна, и опять задвигались за шторами тени. Писатель вышел из машины – после душного салона воздух показался колючим, сладким, – достал телефон, позвонил.

– Всё нормально, – деловым тоном произнесла жена. – Только что вернулась, устала, спать ложусь. А ты что делаешь?

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.me/ru/rubanov_andrey/zhestko-i-ugryumo

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)